

DOI: 10.15643/libartrus-2023.3.1

А. Н. Островский – создатель русского национального театра. К 200-летию юбилею художника. Часть II: сценическое экспериментирование

© **В. В. Ильин**

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

(Калужский филиал)

Россия, 248000 г. Калуга, улица Баженова, 2.

Email: vvilin@yandex.ru

Обширное драматическое наследие Островского изучается посредством исследования преимущественно занимающих его ракурсов заявления «человеческого в человеке». С данной целью на основе однородных наблюдений производится выборка, устанавливающая распределение неких базовых параметров. Согласно такому способу действия драматический материал расценивается гуманитарным полем, в пределах которого осуществляется сценическое экспериментирование. В действительности речь идет о получении двух рядов генеральных совокупностей: одну устанавливает художник (выделением множества репрезентативных жизненных картин), другую – аналитик его творчества (выделением репрезентативных картин художественной трактовки жизни). Характеризация сценографии Островского проводится по функциям значения таких капитальных поэтических тематизаций, как сюжетики – «маленький человек»; «человеческое достоинство»; «самодурство»; «все всегда – в продаже»; «внутренняя опустошенность»; «путь России»; «счастье»; «историческое творчество».

Ключевые слова: *национальный театр, сценическая культура, заветы Островского.*

Эпистемологически четкую дифференцировку «наблюдения» и «эксперимента» применительно к опыту художественной литературы приспособливает Золя, в «экспериментальном романе» утверждая: будучи наблюдателем, художник изображает факты, устанавливает отправную точку, находит твердую почву, на которой действуют персонажи, разворачиваются события; будучи экспериментатором он приводит в движение действующие лица, показывает необходимость событий, последовательность которых именно такова, как требует логика изучаемых явлений.

В качестве наблюдателя – «показывающего» – Островский прибегает к «изображению»; в качестве экспериментатора – «научающего» – Островский прибегает к «выражению». Ставится специфический эксперимент – «сознательно вызванное наблюдение» (Золя), комбинирующее не обобщенными понятиями, но индивидуализированными типическими воплощениями.

Его (эксперимента) теоретико-познавательная атрибутика:

- опора на факты – реальные заявления личностей, человеческая позитивная действительность как несокрушимая основа «изображения»;
- механизм фактов, задаваемый полноценным воображением, как несокрушимая основа «выражения».

Два в одном заменяют изучение «абстрактного, метафизического человека» (философия, теология; классицизм, романтизм) «изучением человека подлинного» (Золя) (реализм) с целью раскрытия в нем присутствия человеческого.

Эксперимент: маленький человек

С легкой руки Булгарина, всех последователей Гоголя стали причислять к сторонникам «натуральной школы». Если под «натуральностью» разуметь верность началам реализма, неумышленного, ненарочитого воспроизведения действительности, – Островский, несомненно, адепт «натуральной школы», проникающийся ее пафосом обнаруживать присутствие человеческого в человеке.

Гуманистическая диспозиция финала «Снегурочки»

Изгоним же последней стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.
И верю я, оно приветно взглянет.

То есть: очистить души, приобщиться к небесному, и – воздастся страждущим в благословенном повороте судьбы, – лейтмотив антропологического реализма Островского, разрабатывающего традиционную для «натуральной школы» тему мировой линии житьем-бытьем поврежденного, неприметного, но примечательного человека, – сообразно «натурализму» писатель берет кусок его жизни и возводит в «перл созданья».

В проигрывании такой диспозиционно заданной указанной школой партии Островский несколько не нов: «человек в нечеловеческих обстоятельствах» – задача «сделать обстоятельства человеческими», – вечный, «кочующий» сюжет, погружение в который изящной словесности помогает нам найти нас. Вписываясь в традицию, Островский действует так, как действовали до него – Пушкин, Гоголь; одновременно с ним – Достоевский; после него – Чехов, Андреев. Идеино, тематически, сюжетно – все общее. Разработчески же, мировоплотительно, исполнительно проглядывает особенное.

Маленький человек неостровских исполнений (с наметками исключений у Андреева) («Повести Белкина»; «Петербургские повести»; «Бедные люди», «Кроткая»; «Моя жизнь»; «Бездна», «Смех» и др.) – не бунтарь; с исполнения Островского крепнет протестная редакция бранных дел «подножия жизни»; «судьбой обездоленных».

Маневровая мощь тематизации жизненных коллизий бедных, забытых людей, пришибленных существ незначительна; тень ущербности покрывает модификации: маленький – жалкий человек. Первый не располагает возможностью осуществить поиски себя, но одержим этим; второй не способен опробовать такую возможность (в указанном – их отличия от «лишнего человека», не находящего себя в тщаниях).

Руководствуясь стратагемой «за человека обидно!», Островский намечает рубеж, разлучающий два типа; фикс-пунктом принимается перерождение с окончательной самоутратой. Исходные свойства маленького человека – безгласность, безликость, подневольность – изменчивы; атрибуты жалкого человека – неизменны. Как гуманитарному экспериментатору типаж жалкого человека Островскому неинтересный, обреченно локализуется в тупиковую историю Миши Бальзамина, который вроде бы нашел, что искал, – выгодную партию, – но неизмеримо больше потерял: последние остатки себя. Тут все ясно.

С маленькими людьми неостровских исполнений (Башмачкин, Девушкин, Кузовкин и др.) не все ясно: разыскания неутраченной вовсе и вовсе неутрачиваемой человечности останавливаются на обнаружении «сердца доброго», «души теплой», но не досказывают: если до

какого-то мига маленький человек все же не ощущает себя человеком, каким образом он обретает причастие человеческому? Важен вопрос путей. Между тем ни Пушкин, ни Гоголь, ни Достоевский, ни последующие версификаторы крупной, первоочередной темы ничего не говорят, ничего не предлагают, ограничиваются то недоуменно раздосадывающим «Зачем вы меня обижаете?», то безропотно-безнадежным: в Петербурге «исчезло и скрылось существо, ничем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное... существо, переносившее покорно (! – **В. И.**) канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу», подле которого «все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь» [1, с. 173].

Можно смеяться, можно плакать, но и в том, и в другом случае никак не удовлетворяться безысходностью. Доостровские исполнения центральной беллетристической темы безысходны.

И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский отрабатывают ламинарную версию человековедческой характерологии. Островский идет дальше, выпрастывая историю маленького человека из теней бездорожья жизненного затмения, выводит ее на магистраль прав личности. Прав на любовь («Гроза», «Поздняя любовь»); призвания («Таланты и поклонники»); счастья («Правда – хорошо, а счастье – лучше»); достоинство («Воспитанница», «Лес»); признание («Трудовой хлеб») и др.

Герои Островского встают за себя, свои человеческие (не социальные – ср.: в «Воеводе» звучит лишь глубоко обреченный мотив: «Нас бог забыл, царь не милует»; замена по высочайшему повелению одних правителей-держиморд на других – еще более гнусных – выдает неопровержимую тупиковость общественной ситуации) узаконенные причастностью родовой организации свободы: не ограничиваясь буквально гоголевским: «Почему над нами все шутят?» («Шутники»), то есть притесняют, – заявляют поправное, но не допускающее поправки самодостоинство.

Человеком недопустимо «командовать, как куклой», – ясное, явное осознание этого движет стремлением вырваться из неволи, найти в себе силы подняться с колен, дать отпор духовному крепостничеству, – в конечном счете, – обрести самоуважение, заставив считаться с собой. Крепнущие ростки персонального пробуждения обозначают сильные антропные движения: не позволяя застрять в обстоятельствах и обязательствах, пробивают плотную ткань домостроевской заскорузлости, рутины.

Схватывающей за душу отчаянной решимостью против гнета «темных сил» бесправия, бесчеловечности встают Лариса: «Я не вещь»; Корпелов: с виду учительшика жалкий, но «честный, благородный» – «...джентльмен»; Катерина: «Коли я... греха не побоялась, побуюсь ли... людского суда?» Etc.

Как выводит Добролюбов, у Островского «все в войне» – войне против неволи (Катерина: «...горька неволя, ох как горька!»), против страшных шуток в их безнаказанности («Шутники»), бытового давящего неудобья (Машенька из «Бедной невесты») и т.д., – за обретение самости: борьба с ущемлением, поруганием, стеснением единственно – не вызволяет, но дает надежду на волю, спасение: Катерина: «...я снова жить начинаю».

Исследование перипетий маленького человека потребно Островскому для уяснения: на что он способен.

Линия восстания маленького человека, оставаясь вне зоны внимания Пушкина, Гоголя, Достоевского, в разработке Островского (неоднократно подчеркивалось) имеет сугубо антропологическую редакцию, не получает уточнений социальных последствий, что вполне

понятно: в отсутствии положительной модели цивилизационного развития России пореформенного периода Островский сознательно ограничивается тематизацией гуманитарных коллизий борьбы за обретение человеческого достоинства.

Эксперимент: человеческое достоинство

Отстаивание собственных прав, возможности быть собой расценивается Островским как ядро коллизии – способность заявлять аутентичное «незагрунтованное» лицо. Иначе говоря, ему интересен бунт не как лихорадочное психоэмоциональное состояние, но как последовательное отрицание наступления на самость.

В неотстоявшихся социально-политических кондициях для Островского тем не менее высвечивалась несовершенство как староотеческого, так и новоевропейского пути цивилизационного развития. Как жить? –

– в мире да благочестии; любви да кротости; радости да удовольствию, – с песней на душе, богом в сердце? Старое, доброе время... Между тем: во-первых, не такое уж доброе, а во-вторых, – эфемерное – протекшее и утраченное; поисками минувшего Островский вдохновиться никак не мог;

– не мог принять он и разочарующей несообразности европейской версии прогрессивных изменений с ее хищническим индивидуализмом, релятивизмом, нигилизмом, прагматизмом, – бездуховным бессердечием, глубоко чуждым сообщественности отечественного уклада.

В подобной неопределенностной ситуации на фоне обострявшейся доктринальной дискуссии: Россия – Европа? неЕвропа? антиЕвропа? – Островский нашел себя в постановке сценических экспериментов по практически-духовной экспозиции экзистенциальных потенциалов, релевантных общественным эволюционным линиям.

Каковы они по социально-политической сути, в те времена, отмечалось выше, решить было невозможно; отсюда едва не вынужденное гуманитарное картографирование обуславливаемых цивилизационными порядками человеческих качеств с, прямо скажем, неутешительными исходами двоякого свойства: без всякого намека на мелодраму – трагедиями, размещенными в рамках:

- разгул «темного царства» («Гроза»);
- разгул «темного богатства» («Бесприданница»).

Невиданно-неслыханное, – из ряда вон явление, – бунт неробких ищущих любви просветленных возвышенных душ, поднимающих мятеж против всех и вся – у кого «сердца нет» (вне социальной принадлежности и сословной морали): от традиционалистов-иммурантов до модернистов-демонстрантов, – старых и новых «хозяев» жизни, полагающих «все ихнее – наше», а потому готовых «всю Россию истребовать».

Островский – разоблачитель нелепой претенциозности корыстной «правды жизни», обличитель превратного существования, обращающего человека в вещь; без всякой морализирующей тенденции его «картинки с выставки», точно мельничные жернова, перемалывают житейскую неосновательность античеловеческого неудобья, подводят к катарсическому убеждению: стать «вполне человеком» возможно, лишь обеспечивая внутреннее самоуважение, персональное достоинство (поучительные казусы Робинзона, Негиной, Кручининой, Бакина, Дулебова, Несчастливцева и др.)

Пробуждение личности в упомянутых эпопеях «Грозы», «Бесприданницы» сопровождается многотрудным преодолением презрения к себе, – Катерина обретает выход в самоубийстве;

Лариса не столь решительна: «Вот хорошо бы броситься!»; «Расставаться с жизнью совсем не просто... нет сил!», «Что же я не решаюсь?» Преодолевая дилемму: вещь она или человек? – героиня не находит ответа. «Вызволяют» обстоятельства: в приступе неоправданного себялюбия ничтожный Карандышев убивает невесту, своей предрешенной гибелью несущей немой укор всей затхлой среде, дремучей несправедности существования.

Эксперимент: самодурство

Островский – автор соответствующей лексемы («В чужом пиру похмелье»), разрабатывает, доуточняет феномен своевольной крутизны сердца во множестве пьес, вкладывает впечатляющие редакции ничем не скованного персонального произвола – самочиния, самовластия в уста типичных носителей святотатственной прихоти – обладателей «говорящих» нарицательных фамилий (прием Фонвизина, введившего стилистическую экспрессию в интерьер персональной характерологии); здесь – Большов, Брусков, Курослепов, Г. Торцов, Градобоев, Ахов, Дикой, Гурмыжская, Мурзавецкая, Уланбекова, Барабошева, Кабаниха. Вот – некоторые из наставительных человекоосквернительных кредо:

- главное, чтоб «все в пояс кланялись»;
- «захотел – сделаю»;
- «что я захочу, так и будет»;
- «что захотел – все твое»;
- жизнь в «наших руках»;
- «для нас закон – одна воля хозяйская»;
- «хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю»;
- «я не люблю, когда рассуждают, просто не люблю, да и все тут»;
- «сделай так, как я сказала».

Державный бич России – отсутствие в национальном самосознании, регламенте обмена деятельностью начал цивилизма, механизмов институционального закрепления, публичной поддержки законных интересов гражданина, имеющих юридическое значение. Гражданское право в отечестве, не будучи анонсировано, никогда не регулировало личностные отношения участников интеракции (гражданского оборота – граждан между собой, граждан и организаций, организаций). Закон заменялся:

- в общественной жизни беспорядочным рассмотрением и разрешением дел не по утвержденному «праву», а по «душе», – ископаемый, прямо-таки щедринский троглодит Градобоев («Горячее сердце»), дерущий со всех «мерки» со «щетинкой»;
- в частной жизни – «Домостроем» – сводом жизненных предписаний, универсализировавших устои патриархального быта, деспотической власти глав семейных кланов.

И тут, и там, и везде, и всюду – «что хочу, то ворочу» – с неизменной, неизбежной дремучей спесью, самодовольством, безоглядной хищностью: «тот тебе рыло сажай намажет, другой плясать заставляет, третий в пуху... вываливает» («Шутники»).

Самодержавная «шутка» как несправедливая, несправедливая забава, капризное желание, вспыльчивая причуда, неуемная прихоть – плацдарм «шуткованья», «шутейства» как образа жизни, – такого не знал ни один народ, ни одна страна. Знала Россия, где власть над душами, возможность безнравственного распоряжения судьбами расценивалась наисладчайшей властью [7].

Внутреннее крепостничество – «все из него выходит, на него опирается» (Салтыков-Щедрин), – с ним последовательно, полномерно, всемерно борется Островский, художественно

противопоставляя ему раскрепощающегося человека, стремящегося «быть господином самому себе» (Кант); научающегося «властвовать собой» (Пушкин).

У Островского – полный дефицит положительных мужских персонажей (на них никак не могут претендовать Прибытков, Паратов, Окоемов, Ераст, Жадов, Васильков, Беркутов и др.); приятное исключение – Любим Торцов – «внесловный герой» (не бомолох, не фигляр, – блуждающий маргинал), имеющий право на правду. Просветленный, с «богом в душе», – таких искал и таки находил Островский; за них страшно, больно, но вдохновительно: вне всяческих асаже Любим не раболепно думает и говорит «что думает», олицетворяя не социальную (как у Чернышевского Рахметов), но экзистенциальную российскую перспективу.

Полноту самоуважения выказывает Несчастливцев – не опустошенный, не деморализованный герой; над всеми его поднимает причастность служению культу прекрасного, а с тем – право и обязанность заявлять правду, отстаивать ее безусловно. «Подлости не люблю, вот мое несчастье», – признается не лицедей – Актер (ср.: с будущим Актером Горького). Как уважающая себя равнодостоящая персональная инстанция Несчастливцев не может смиряться и не смиряется с подлостью, что и осложняет самостийное движение по аутентичной, далеко не безмятежной «мировой линии».

Не делая далеко идущих (тем более радикальных: он – не идеолог-социологист) преобразовательных выводов, Островский держится просветляюще-побуждающего: «Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человеку. А что вы сделали?.. (ср.: последующее горьковское осуждение интеллигентского квиетизма. – **В. И.**) [8]. Вы тешите только самих себя...»

По символическому оборотничеству «лес» превращается в непроходимую «чащобу» имитирующей, лицемерной, неподлинной, просто «подлой» жизни, однако... не подлежащей вырубке.

Как рубить? Зачем рубить? Во имя чего рубить? Что обеспечит вырубку? Островский не знает; – на фоне выводимых им родовых форм прекрасно понимая: позже – дальше могут прийти больше – хуже (линии снижающих параллелей «Банкрота», «Доходного места», «Мудреца» и др.); во избежание досадных багов Островский сторонится вопросов векторов (обостряемых полемикой западников-славянофилов), цены (обостряемой платформой Руссо – Карпентера) общественного прогресса.

В отличие от Лаврова, высказывавшегося за ответственность свободно действующей размышляющей публики по обеспечению цивилизационного движения, Островский высказывается за ответственность цивилизационного движения по обеспечению формирования свободно действующей размышляющей публики.

На каких социальных починах? – не ясно. На каких экзистенциальных починах? – ясно, – полном, последовательном, всестороннем раскрепощении человека. (Во избежание недоразумений в очередной раз акцентуируем: как экзистенциальный писатель Островский обличает холопство – неприемлемый, неправомерный образ жизни. Более или менее удачный опыт высвобождения из него, обретения персональной воли – казус Параша из «Горячего сердца»; в схожие коллизионные ситуации (пресс семейно-бытовой тирании) попадают Людмила («Поздняя любовь»), Наташа («Трудовой хлеб») – достойные женщины, из которых делают «выгодные партии» (добыватель богатых невест – корыстный Вахорев из «Не в свои сани не садись»), – пристраивают в качестве валотивных «вещей». «Я – не вещь!» – восстает Лариса. Ее по-человечески понятный, целиком и полностью выстрадавший демарш, однако, завершается

трагикомически: гибнет она от рук недостойного, жалкого, во всем ущемленного, убогого существа, своим несуразным поступком оттеняющего: Лариса – вещь, даром что не его).

Эксперимент: все всегда – в продаже

Философия мздоимства, лихоимства как «образ жизни» подвергалась критико-аналитическому осмыслению:

- Карамзиным, вопрошавшим: «что делает Россия?» и дававшим твердый, нелицеприятный ответ: «Ворует!»;
- Сухово-Кобылиным, отмечавшим: «Было на нашу землю три нашествия: набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли»; от них – «все скорби наши».

Наряду с самодурством Островский открывает характерный феномен национального уклада, – взятка, подкуп, корыстная плата как порядок ведения дел, направление организации деятельности: умение жить суть умение «брать и давать» (Юсов).

Главное – ставить дело так, чтобы «рука не сфальшивила»: и волки «сыты», и овцы «целы», – и тебе, и мне; основное – «счесться».

Примитивная линия гешефтмахерства, опираясь на постулаты:

- «найду выгоду... все продам» (Паратов) (и любимую «Ласточку», и любимого себя (невеста с приданым), и было нахлынувшее теплое чувство; в последнем случае, правда, лучше говорить не «продать», а «предать»);
- «общественное мнение: не пойман – не вор» (Вышнековский), –

индуцирует две тактики поведения:

- а) – поиск «доходного места», с которого возможно «приобрести»; – курочка по зернышку – и жизнь сытая;
- б) – поиск попечителя-покровителя, ухватись за которого, да и ступай: «И чины, и ордена, и всякие угоды, и дома, и деревни с пустошами... Дух захватывает» (Юсов – Жадову о Вышневском).

Превращенному антропному модусу «быть всему, всегда в продаже» Островский противопоставляет ставное убеждение: деньгами делается многое, но не все; ими – нельзя создать человека.

Рефрен «человек капиталами не формируется» проходит через всю драматургию Островского, скрепляет ее мировоззренческое строение.

Верно, может не быть суда ни общественного, ни уголовного, но есть художественно-сценический суд, отвергающий тенденцию «сторговать» человека, есть здоровая катарсическая реакция размышляющей публики. К ней апеллирует Островский.

Прямые, как рельсы, узколобые, как павианы, старорежимные и новоявленные хапуги-бонвиваны по здравомысленным понятиям примитивны, маломерны: всем, у кого «совесть глиняна», Островский показывает: «человеческий» вопрос не имеет меркантильного разрешения; он – «бесценен».

Лариса «любви ищет»; при этой смете бессмысленны потуги одноклеточных «предпринимателей» Кнурова, Вожеватова выискивать содержание, от которого не отказываются. (Куда дальновиднее решительное действие Прибыткова, предлагающего женщине в затруднительных обстоятельствах руку (хотя и без сердца)).

Мелкие (ввиду «человеческого» всегда – мелкие) аферы-кульбиты коррумпированного «крапивного семени» – боковой сюжет человека-разведывательного проекта Островского

(иную тональность задает Сухово-Кобылин, художественно и граждански осуждающий бесстыдное расплюевское мошенничество); его стихия – освоение экзистенциальной подлинности, о чем – отчаянный монолог Несчастливцева: «...мы, артисты, благородные, а комедианты вы. Мы, коли любим, так уж любим... А вы?.. только... самих себя развлекаете. Вы комедианты, шуты, а не мы!»

Эксперимент: внутренняя опустошенность

В «Лесе» Счастливых и Несчастливых оказываются перед развилкой; согласно указателю одна дорога ведет «В город Калинов», другая – «В усадьбу «Пеньки» помещицы г-жи Гурмыжской». Поскольку о Калинове по разыгравшейся ранее в «Грозе» трагедии уже известно, актеры выбирают неисхоженный путь – как выясняется вскоре, вопреки ожиданиям, – путь вовсе не новый и едва ли лучший. Путь развилка на поверку пребывает не развилкой: что там, что здесь (что – везде) – медвежий угол глухой провинции, где «вековая тишина», где молотятся «пенью», где «мирно дремлют наяву», где человеческая пустошь, пространство дебрей (оттеняемое досужими Бодаевыми-Милоновыми, как несколько ранее Собакевичами-Маниловыми), где жили и живут «в лесу» (ср.: современный сериал «Лесник», курьезность пафоса которого заключается в скрытой демонстрации: на всю округу сыскивается едва не единственный персонаж, во всех жизненных передрыгах проявляющий здравый смысл, руководствующийся человечностью, выказывающий нравственное достоинство, растревоживающий в себе подобных признаки совести). Где – муки жизни не от скорой зависимости от дремучих Тит Тытей, а от неразрешимой безнадеги, когда нет возможности искать «правды и смысла жизни» (как впоследствии – у Чехова, Г. Успенского, Андреева).

Располагая свои человековедческие искания с собственной же более ранней (сентябрьское 1853 г. письмо М. Погодину) директивой «пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует», и наращивая усилия по взятому на себя обязательству «добросовестного обличения» обстановки, Островский не может не погрузиться в проблему: почему жизнь отеческая снимает личность с высокого пьедестала человечности.

Островский скрупулезно исследует дериваты, смежные звенья «лесной жизни», – как-то:

- душевную потерянность: «...знаю, что толку... не будет, одни муки» (Андрюша из «Пира»);
- отрешенную неприкаянность: Ахов (со слов Феоны) «бродит», всем мешая;
- безысходное любование природной, а не душевной красотой, натуральным простором (Катерина, Лариса).

Неизбежный итог безрадостного, смутного, бедного надеждами скучно-обязательного способа существования, – обреченная опустошенность, – «...жить... тяжело, невыносимо», – признается бесприданница, – с печальными спутниками:

- духовным обмельчанием: бедность как социальное состояние – не порок; порок – духовное мелководье, деформированность человечности, эрозия гуманитарного начала (тривиальное предательство-надувательство как норма жизнестроения);
- развенчанием того, что сообщает жизни ее непреходящую цену. Разрушение идеальности натывается на дезориентирующий вопрос: что делать с «бешеными деньгами»? В «Горячем сердце» Хлынов озадачен, – как их тратить? как при богатстве «с ума от тоски не сойти»? Глафира («Волки и овцы»), в отсутствии воображения и культуры, полагает проматывать их в Европе (ср.: узколюбую программированность современных российских олигархов, мерящих счастье количеством приобретенных в европах яхт, вилл);

- духотой, спертостью существовательной атмосферы: руки есть, а работать нечего; ладно бы работать, – нечем дышать (ср.: Пушкина убила не пуля – затхлость среды); некуда деться: вроде в достатке живущий у родственника Аркадий Счастливец вдруг прозревает: «А не удавиться ли?» и, покидая сытую неволю, уходит в никуда (ср.: приговор уже нашей глухотой – безутешной, лишенной благорасположенности судьбы жизни – «киношедевр» «Маленькая Вера»; или – расхожий факт: червь неудовлетворенности, точащий неустроенное существование наших соотечественниц, от сосущей тоски ходящих на полустанки и с отчаянием провожающих хвосты летящих куда-то мимо поездов, стремительно уносящихся от гнетущей, обреченной «неволи»).

Черный полог душевных дебрей, человеческой низости, опустившийся над российской провинцией... Возможность откинуть его Островский усматривает в исканиях, наращивающих внутренний потенциал продвинутого чувства жизни.

Русский человек закрепощен наиболее опасным видом закрепощения – влекущей самоутрату внутренней крепостью (ср.: Салтыков-Щедрин: крепостное право – «единственное живое место в нашем организме»). Отсюда (минуя историософию) – не цивилизационный, но экзистенциальный выход: следует искать путь к себе. «Свой» – без метафизических упражнений. (На данном пути, правда – специфические рифы, обходить которые учили Лесков («Очарованный странник»), Бунин («Жизнь Арсеньева»), – рифы дикого размаха мотовства, горьких, часто пьяных, слез об окаянстве и горячих просветленных мечтах о самообретении в какой-то новой «страдальческой» жизни – бросив все, – став бродягой, босяком, через нищенство – вдруг обрести личностное обилие).

Проблема, насколько «широк» русский человек и как предусмотрительно его «сузить», не имеет по сей день какого-то ясного «технологического» решения. Несомненно, однако, одно: упоение роскошью – непристойно; соревнование в богатстве – неприлично; за пределами дорогостоящие прихоти, стремления к ним – осуждаемы.

Островский склоняется к софийному началу, творящему добро буквально в качестве онтологической инстанции через пестование свободного от предрассудков жизнедеятели. Свободного в первую очередь от душегубства.

Такого (жизнедеятели) в качестве героя Островский не выводит: Васильков – носитель социальной чуждости – «чужой среди своих»; равно – Жадов – человек с «чистой совестью» – по-донкихотски подозрителен – не живет, как «люди живут». Они – не на вершине горы, однако – уже и не у ее подножия: включенные в водоворот бушующих, кипящих страстей, они не указывают, но отштриховывают некий выход из тупика (домостроевская патриархальность – предпринимательское хищничество), располагающийся поодаль от любых видов гнетущего самодовольства, душевной провальности жизненного мещанства.

Эксперимент: путь России

Впрямую не участвуя в оживленной полемике, какая социально-политическая перспектива благоволит державной российской поступи, художественно объемными убедительными средствами Островский оценивает характер субъектности, качество человеческого обеспечения возможных прогрессивных линий.

Заметную тень ущербности отмечает он в программах:

- радикализма (Вершинский): все сломать;
- архаизма (Ашметьев): все оставить;

- мелиоризма (Малысов): тактика «малых дел».

Не находит он «локомотива» преобразований – «новых людей» (о которых раздумывали Тургенев, Чернышевский) в лице ни нигилистов, ни социалистов.

Не вдохновляют его консерваторы (Крутицкий); либералы (Городулин); критиканы – «сбиватели своего яда» (Глумов); патриархалы (Г. Торцов); западники (Коршунов); умеющие «добывать деньги» дельцы (Телятьев).

Наметившиеся преобразовательные направления расценивались им со всех концов губительными. Прав Гончаров: Островский не писал о «новой России» [2, с. 182], руководствуясь максимами:

- «спасение от... ложного пути находится только в народе» [3, с. 238];
- «...сознание жизни – выше жизни... знание законов счастья – выше счастья» [6, с. 419], – вот, с чем бороться надо.

Эксперимент: счастье

Человек создан для счастья, как птица для полета, – много позже выскажет Горький. Специфическим поиском счастья героев Островского выступает обретение свободы – достижение независимого, неугнетенного состояния, позволяющего не то, что летать, – чувствовать себя полноценно.

Если брать женские образы, калейдоскопически решается двоякая проблема: вырваться из постылого принуждения («Бедная невеста», «Женитьба Белугина», «Сердце не камень», «Невольницы», «Воспитанница», «Бесприданница», «Лес», «Горячее сердце», «Таланты и поклонники»), порвать с ненавистной средой («Гроза», «Банкрот»); проблема – фактически не имеющая решения.

Камень преткновения – эмотивная недоуточненность вечных, проклятых дихотомий:

- чувство – долг;
- красота – богатство;
- вольность – крепость;
- взаимность – автономность;
- прочный брак – сделка с совестью.

В подспудье и наяву пространство альтернатив обследуют Липочка, Машенька, Катерина, Аксюша, Параша, Лариса, Лидия, Елена, Вера Филипповна, Ксения, Евлалия, Зоя, Негина.

Счастье – дар, который ищут все, тем более женщины. Вместе с ними этим занят Островский, не приходящий к каким-то безоговорочным результатам. Некий предел поискам, скорее всего, положила бы прямая апелляция к идеалам. Однако же превозносимые в те времена идеалы женского счастья в трактовках:

- кисейных барышень (Помяловский);
- стриженных нигилисток (Тургенев);
- инициированных прогрессисток (Чернышевский); –

Островский принять не мог. Единственное, что он мог сделать и делал – высказать убеждение: отсутствие жизнеопределяющих святынь – человекоуничтожительно.

Что до мужских образов, претензии на «счастье» поглощаются тут поиском не трепетных (по какой-то диковинной причине не мужчины борются за женщин, а наоборот: Вера Филипповна добивается взаимности Ераста; Ксения – Кочуева; Лариса – Паратова; Катерина – Бориса; Евлалия – Мулина), но весьма плотских приземленных субстанций – благополучий не

идеальных, но материальных. И чтоб – вынь, да положь. (Сенситивная модификация самодурства в волонтарном заявлении законов сердца, – корыстно выраженных живых чувств, – как в классической редакции из «Пира»: «Самодур – это называется, коли... человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он все свое. Топнет ногой, скажет: кто я? Тут уж все... ему в ноги должны так и лежать, а то беда...») В «мрачной глубине» (Толстой) хищных мужских характеров Островского, заточенных на одни сделки (в том числе с совестью), – не до счастья. (Столь выигрышные мужские качества, как прямота, честность, порядочность, толкуются большинством агентов уездного захолустья в качестве маркеров отверженности).

И все же, взвешивая на весах Иова «правду» и «счастье», Островский отдает предпочтение последнему: правда – хорошо, но лучше ее – счастье. Потому в откровенной пьесе с обязывающим аншлагом «Правда – хорошо, а счастье лучше» позитивистской правоте Мелузова героиня (Негина) противопоставляет обеспечиваемый Великатовым жизненный успех. Откуда мораль: «быть» – в жизни не свертывается в «иметь»; – нельзя существовать без устремлений, по формуле Платона Зыбкина превращаясь в «мерзавцев своей жизни».

Эксперимент: историческое творчество

Обозрению взаимодействия элементов трилеммы: власть – элита – народ в разных инспирирующих комбинациях: держава – герои – толпа; страна – личность – масса; – посвящены исторические хроники «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», артикулирующие тему принципов служения отечеству.

Как и его коллеги по литературному цеху Пушкин, Хомяков, Погодин, Аверкиев, Чаев, А. К. Толстой, Л. Толстой, Островский громкозвучно осваивает сюжетику: движущие силы исторического процесса. Руководствуясь пушкинским: вывести и судьбу человеческую, и судьбу народную [11, с. 632], Островский вынужден принять некую историологическую пресуппозицию трактовки подлежащего образному воплощению фактического материала, для чего – разделить «предрассудки любимой мысли», вытекающие из:

- наложения мысли на события;
- выведения мысли из событий.

Первого пути держался А. К. Толстой, выполнявший драматическую трилогию «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» в кильватере априорной царистской гиперболизации. Островскому ближе второй путь – не из «света и воздуха» (Салтыков-Щедрин), а из твердой почвы.

В отношении последнего, правда, возникали свои особенности сценографизации явлений, передаваемые допущением примата:

- провиденциалистского начала через утрирование трансцендентного фактора: Кукольник – «рука всевышнего отечество спасла»;
- персоналистского начала через утрирование субъективного фактора – деятельности прозорливых лиц-подвижников (Михайловский);
- фаталистского начала через утрирование популяционного фактора – предрешенной деятельности народных масс (Л. Толстой).

В силу генеральной диспозиции, задающей общий тон творчества, – показать «решительный, цельный русский характер» [5, с. 339], – Островский не может сочувственно реагировать на указанные базисные герменевтические схемы.

С модельной точки зрения он вырабатывает крайне интересный экспликативный ход: поскольку деятельность *au naturel* всех агентов истории не совершенна:

- высшая власть себялюбива – вследствие недальновидных интриг, авантюр, непродуманных наступлений на народ будущее державы «шатается»;
- олигархическая, компрадорская элита – корыстна, самонадеянна: Шуйский: «народ слепой», «возьмет, что мы ему дадим» – возьмет ли?;
- народ – своеволен: имеет тенденцию окказионально выходить из «наряда» («Воевода»), – ни корона, ни элита, ни масса единосущно, как таковые, не допускают беспочвенной неосмотрительной идеализации.

Точка опоры жизнестроения – «человек из народа» – облаченное в тогу патриотического служения, отягощенное выполнением «миссии» народное лицо – ответственный деятель и деятель реальной истории. Таков Минин, Калачник – выдвинутый логикой условий и событий ревниво обязанный предводитель-руководитель общесоциальных движений, вершитель державных судеб, имеющий право заявлять: «Я – весь народ московский, вот кто я!»

От маленького человека к герою, неординарному ставленнику всей полноты населения – патриоту-спасителю отечества, подлинному локомотиву социальных перемен (без умышленных «новых людей») эволюционирует в своем поисковом экспериментировании Островский – писатель не столько «нравов и быта» [2, с. 179], сколько дел и дум народа-созидателя собственной не допускающей порчи жизни.

Неимоверно эвристичная практически-духовная экспериментальная тематизация тех «обстоятельств, посредством которых начинается и протекает жизнь героев» [4, с. 78], где они проявляются в модусе «быть», а не «казаться» – как есть «настоящие сами», – в образно-художественной ясности развертывает концептологию русского национального характера.

Здесь – в переливах живого голоса сердца, с сознанием подоплеки, без наведенной тенденциозности с убийственной точностью, в атмосфере особой доверительности вводятся ходовые понятия, оттеняющие типаж отечественного человека. В эпической физиономии последнего (весьма схожей с картиной Лескова) – равнодушие к себе; отсутствие границ радости и горя; бесстрашная решимость; контрастность эмоциональных состояний; привычка терпеть; незлобие; беспечность; самонадеянность; рассогласование слова и дела; похвальба, хайка; бессудие; доверчивость; страсть к самоистязанию; отходчивость сердца; общественность; беспочвенная надежда; несдержанная горячность; своевольность; любовь к дальнему. (Расхожее клише: каузальный остов цивилизационной формы «русского мужика» – среда жизнедеятельности – простор, доминанта пространства над временем, – дискурсивным образом не определяемо и не определимо.)

Поэтический опыт Островского – литература не «случайных семейств» (Достоевский), отдельных социальных слоев (Омулевский, Крестовский, Ключников), но – вечного, общего; – литература, пронизанная выяснением не занимательных происшествий («торговое направление»), но высоких целей.

Непосредственный предмет художественного осмысления Островского – сшибка времен «прежних» с «нынешними» под углом зрения демонстрации нравственного стержня происходящих перемен с позиций преобразования «доличностной» среды в «личностную». Не будет преувеличением высказать: фактически Островский работает над одной пьесой: свертыванием и развертыванием человечности.

На магистрали «завязь – упрочение – расцвет» человеческого начала жизнедеятельности приходит осознание значимости персонального участия, поступка, решения. Сцепка «духовное прозрение – действенное воплощение» открывает «ворота драмы» как выстраданного,

напряженного, связанного с нравственными страданиями сплошного ряда судьбоносных событий. Погружаясь в стихию последних (чего нельзя высказать о Капнисте, Львове, Соллогубе, снижающих драматические коллизии до ходульно-обличающих, витринно-кукольных сцен), осуществляя знаменательное движение в поведенческой апории «патриот – мерзавец», Островский делает открытия. Прямо назовем их. Это:

- самодурство;
- взятка;
- святотатство;
- безнравье;
- тоска

как шиболеты национальной жизни.

При чем тут – «открытие»? Традиционно «открытие» связывается с установлением ранее неизвестного, неведомого. Между тем названное и известно, и ведомо. Снимая интригу, отметим: открытия Островского – специфические: они не новы по указанию на, в общем, расхожие явления, но они новы по способу на них указания. Решает подача, трактовка известного: самодурство как произвол; взятка как подкуп; святотатство как поругание заветного; безнравье как попрание закона; тоска как душевное уныние в подаче Островского выступают превращенными формами отечественного опыта, правилами существования национального типа в дикой трясине – «без берегов».

В обстановке до-, – пореформенной России, в обстановке распада жизненных опор, эрозии социальных, гражданских скреп, моральных принципов, в обстановке на «рубеже», на «меже», где нет ничего прочного, твердо установленного, искали, прибегали к поискам обнадеживающего буквально все представители размышляющей публики, интеллигентского слоя. В отличие от прочих искателей, заноса на скрижали своего века открытые им репрезентативные феномены национальной реальности, Островский ратует за пробуждение русского народа от жуткой спячки, тупого человеческого сна, – пробуждение, способствующее и выводу на стезю гражданского возрождения.

Смятение умов преодолевается подчинением их высоко адаптивным императивам вершения крепкой народной жизни (без деформирующих смущений прожекторов всех мастей из галереи «выдохшихся людей» – либералов, консерваторов, патриархалов, прогрессистов – пустопорожних болтунов, идейных авантюристов), – в такой убежденности Островского – подобие антикартезианской парадигмы: санацию человечности Декарт связывал с прорывами в налаживании работы ума; Островский же – с прорывами в налаживании естественного самотека извне неповреждаемой жизни; Декарт осуществлял эпистемологический переворот, Островский – переворот антропологический.

Успею ли высказаться? [10, с. 83] – обращая внимание на превратности судьбы, сетовал Островский. Высказаться о желаемом «всем» не дано никому. Вместе с тем о наболевшем сакраментальном Островский высказаться успел. Его благополучный поэтический опыт, говоря односложно, ценен нам двоякообразно:

- со стороны продумывания радикальной диастазы времен: предреформенное – постреформенное состояние; с усилием, достойным лучшего применения, социально-политическая история периодически разбивает национальную жизнь на «до» и «после» с обречением на затяжное бездомное межеумочное лихолетье; эпохи у нас – различные, проблемы – сходные: как идти, что строить, куда стремиться, и решаются они однотипно – через человеческую революцию;

- со стороны итоговых умозаключений, веских (часто в виде поризмов) выводов, – именно: неизменной вдохновенной веры в отечество, народную мощь, счастливое грядущее.

Находка Островского – на все времена: исторический оптимизм, сообщающий твердую спокойную уверенность в правоте национального дела. Каково будущее – неизвестно, но после Островского – вполне понимаемо: с таким человеком, народом, страной оно не может не быть замечательным; из всех испытаний, всегда России предreshено выходить победительницей.

В завершение – ряд наболевших соображений *mihi cura futuri*.

1. Проблема культурно-исторической правды.

Как в «театральных» пьесах («Таланты и поклонники», «Без вины виноватые») пропагандировал Островский, храм искусства – не вертеп, не развлекаловка; служитель в нем – актер – не фигляр, не забавляка.

Нам, пережившим со всем миром сексуальную революцию, чужды повышенная стеснительность, лицемерие, ханжество. Между тем и в деликатных вопросах должен присутствовать, проявляться эстетический вкус, художественный такт, сценическое чувство меры, наконец, здравомысленная щепетильность, сообщающие бережное, трепетное отношение к культурному достоянию, общенациональному символическому наследию.

В ряде драм выводимые Островским купцы (как правило, старообрядцы с привитым воспитанием пуританским восприятием тонких вопросов морали) традиционно избегали прилюдного обнажения тела. Хорошо ли, плохо ли, – такова сермяжная правда жизни. Что же движет современным постановщиком, заставляющим премьера Ленкома (уважаемого народного артиста) выдвигаться к рампе с голым задом? Откровенный телесный тыл и... Островский! – вещи несовместные.

При всей данной смете спрашивается: что, во имя чего ставится? Если решается не в меру «творческая» задача наполнить, удивить зал, можно организовать стриптиз (тогда – к чему театр?); если решается более осмысленная задача приобщить зрителя к высотам, глубинам (не допускающей актуализма-презентизма) классики, следует, выказывая понимание законов грации, держаться художественного идеала.

В рефлексивной эпистемологической, герменевтической плоскости обостряется вопрос правомерности «сдвигологических» интерпретаций – ничем не скованной свободы (произвола) додумывания, передумывания символического материала. Постановщик, как правомочный экзегет, наделен возможностью заявлять позицию, интенцию, идеацию, однако же – не любую! – надежное чувство акрибии вводит запрет на волюнтарную адаптацию духа шедевра к конъюнктуре текущего дня; нельзя считать себя умнее живущего в веках автора, продумывающего созидание созидаемого. Хватает запаса гениальности, – создавай свое, но не травмируй, искажай, перелицовывай не тобой созданное.

Вызывает в связи с высказанным устойчивое неприятие неуместной предосудительной тяги к курьезному переименованию: нет никакого желания вникать в (видимо, «глубокие», поисково «выстраданные») «смелые» морфизмы, подрывающие все принципы отображений множеств друг в друга и позволяющие вследствие этого в качестве интригующего продукта выхода получать:

- «Арбенин. Маскарад без слов»;
- «Женитьба. Почти по Гоголю»;
- «БЕСприданница»;

- «Шекспиргамлет»;
- «Дядя Жорж» («Ужли сударыня»?!)

Измельчание драматургического, постановочного, сценического дела («Горе от ума» в «Современнике» ставится под фирмой «героизации» Молчалина – в масках эйрона, аладзона, бомолоха, – которому в качестве шаржированного суфлера подыгрывает Чацкий и т.п.) и шире – эстетического деграданса – худое предзнаменование, – востребует специального профессионального осмысления общей динамики практически-духовного в интерьере наших дней [9]. Как с чувством потерянности высказывал Ю. Яковлев: «Звезд» много, а выйдешь на улицу в сумерки, – темно. Театр – своя художественная крепость; место символической силы. Ему нужны не столько внешние эффекты – технологические изыски, сколько внутреннее сосредоточение – катарсис. На это вот – в большом дефиците, свидетельствующем о разрушении современного театрального опыта.

2. Проблема континуальности художественного опыта.

Культура есть многотактный механизм порождения, закрепления, передачи, умножения – плодоношения ценностей, представляет непрерывное, связанное многообразие (континуум) – в себе плотный, на себя замкнутый компакт.

Не пускаясь в строгие обработки и проработки понятий, главное для нас – подчеркнуть: закон культуры – закон непрерывности действия, фундируемый образами непустых пересечений, соприкасаемости конечных граней, контактности предельных отношений. Нормальное культурное пространство – топологическое, эксплицируемое как замкнутое множество:

- содержащее все близкие к нему точки;
- не представимое в виде объединения автономных частей.

В состоянии *desperandum* констатируем: закон континуальной архитектоники культуры нарушается в современности.

Искусство функционирует как мегапредприятие образно-символического запечатления художественного идеала: для него радикальна имплементация «как», а не «что». По части «как» «технические» нововведения Островского несомненны и незабвенны. Здесь – раздвижение границ поэтики; расширение жанрового диапазона; обновление сюжетостроения; характерность проекции на извечные эпические темы; смелое включение фольклорного материала; акцентуация народного обихода, манеры общения, повадок, просторечия... От физиологии Замоскворечья к физиологии национального типа шел Островский, отмечая свой путь находками, признанием; наследие его усыпано лаврами.

Все нажитое богатство, к несчастью, грозит исчезнуть, тривиально пропасть, улетучиться ввиду рассеяния лучей драматического. Как еще в «Ричарде III» говорил Шекспир, «Пришла пора сказать, мой труд забыт». Класс драматургов, сочинителей пьес у нас ликвидировался. И не в результате какой-то злоумышленной борьбы, возни, – сам собой. Еще недавно творили Погодин, Арбузов, Штейн, Розов, Рощин, Вампилов, Володин, Зорин, Шатров... Худо-бедно решался вопрос насущного репертуара. Пускай с эстетическими издержками, художественными изъянами: доминанта актуальности содержания (те же «Заседание парткома», «Сталевары» и т.п.), лакирующая бесконфликтность, пунктирность структуры действия, языковая заштампованность, обедненность жанровости и т.д. Пускай. Но был современный театр с современным материалом. Теперь его нет. Нет не то, что бега, – черепашьего шага на дистанции «практика, теория драмы». Пустошь.

Видит Бог: с позиций социальной философии, социологии культуры, эстетики, искусствознания – вещь абсолютно нетерпимая. Наше время осталось без драматической, театрально-сценической проработки болей, забот дней текущих.

3. Проблема натиска контркультуры.

Как щепку едва не последние остатки культуры уносит мутный враждебно-вызывающий поток активизирующейся контркультуры. Искажаются духовные достижения прошлого, истончаются плодоносные слои, иссякает наследие, истощается возделывание. А с ними – причастие высокому. В нарушение завета на все времена:

Стремиться к небу должен гений,

Обязан истинный поэт.

(Пушкин)

(В настоящем, к несчастью, и «поэт» начинает стремиться не к «небу», а к «хлебу».) Налетают глумливые опустошающие бури, ветры...

Фиксируем грустные факты. О Шишкине – авторе полотна «Утро в сосновом лесу» – знают по конфетной обертке «Мишка в лесу». О голландском постимпрессионисте – авторе картин «Ночное кафе», «Пейзаж в Овере после дождя» и др. – осведомляются по сомнительному шлягеру «На лабутенах»: «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Для привлечения внимания публики к вернисажу передвижника, члена «Мира искусства», автора «Девочка с персиками», портрета «М. Н. Ермоловой», исторической композиции «Петр I» и др. изменили строчку всеядного песенного создания, получили: «Ходили я и Вова на выставку Серова».

Через фантик – Шишкин; через ботинки – Ван Гог, Серов... Невразумительно, кисло, недостойно. Со всем этим что-то надобно делать.

В первую голову – санировать совершенно негодную нынешнюю систему образования, восстанавливая базовую семантику «образования» как «создания, формирования, оформления» человека.

Феноменологически задача образования – приобщение к знаниям, навыкам (систематическое просвещение). Эссенциально сверхзадача образования – пестование человечности (систематическое вовлечение в культуру). Ныне действующая у нас (на развалинах кредитоспособной бывшей) система образования не справляется ни с задачей, ни тем более – со сверхзадачей. В невозможности осуществлять причастие «свету» на всех порах производится штамповка причастия «покою» – непритязательных, нетворческих, безликих существ; работает фабрика выпуска исходно «выдохшихся» (Лыняев Островского) – массовки без солистов.

На очереди дня – серьезнейший вопрос: кто в ближайшее время в нашем обществе будет делать культуру? какова отечественная субъектность сверхприродного созидания?

Островский боролся с арьергардными выступлениями безжалостно циничного «темного царства»; нам надлежит бороться с авангардными наступлениями хваткого, как бультерьер, контркультурного царства. Как бы то ни было, нелепым псевдокультурным превращениям Аполлонов в Посейдоны должен быть воздвигнут надежный заслон.

Из «Леса» идущая фраза «Руку, товарищ!» становится девизом нашего возвращения в культуру; Россия была и остается центром мировой культурной силы. Во имя культурного обновления отечества мы подаем руку началам, черпаемым из преподанных Островским поучительных уроков:

- здравомыслия: идущая из народной толщи реалистичность сознания;
- солидарного действия: преодоление боли, моровой язвы нашей судьбы – разобщения;

- пондерации: балансировка интересов, достижение равновесия динамических и ритмических сил, частей в функционально связанном целом;
- братолюбия: умение смотреть «вместе», а не розно – через прицел;
- надежности и порядка: ликвидация «случаев к поползновению»;
- освобождения от пут патриархальщины: намеренно чинимых препятствий к саморазвитию;
- нравственного просветления: человека «мнут» много, но вследствие этого он не становится морально «помятым».

Нехватка понимания, тепла восполняется причастием не художественной – жизненной идеальности, к которой приобщает театр Островского, – театр сопереживания. Дух времени и вечные темы человекосозидания совпадают в культуре. Именно это демонстрировал Мастер – создатель жизнеспособной национальной сцены. Именно это следует демонстрировать нам.

Литература

1. Гоголь Н. В. *Петербургские повести*. СПб.: Наука, **2014**. 295 с.
2. Гончаров И. А. *Собрание сочинений в 8 т.* М.: Правда, **1952**. Т. 8. 504 с.
3. Добролюбов Н. А. *Полное собрание сочинений в 6 т.* М.: ГИХЛ, **1934**. Т. 1. 675 с.
4. Добролюбов Н. А. *Полное собрание сочинений в 6 т.* М.: ГИХЛ, **1935**. Т. 2. 766 с.
5. Добролюбов Н. А. *Собрание сочинений в 9 т.* М., 1961–1964. Т. VI. 574 с.
6. Достоевский Ф. М. *Собрание повестей и рассказов в одном томе*. М.: Альфа-книга, **2015**. 1229 с.
7. Ильин В. В. *Философия власти*. М.: Изд-во МГУ, **1993**. 270 с.
8. Ильин В. В., Азаренко И. С., Вишневская С. Н., Шаура Е. К. Интеллигенция в национальной истории: к 100-летней годовщине «философского парохода». Часть IV: интеллигенция – катафатическая перспектива: что делать // *Российский гуманитарный журнал*. **2023**. Т. 12. №1. С. 3–18.
9. Ильин В. В. *Философия кризиса. Человечество на пороге катастрофических перемен*. М.: Проспект, **2022**. 104 с.
10. Островский А. Н. *Полное собрание сочинений в 16 т.* М.: Гос. изд-во худож. лит., **1953**. Т. XVI. 444 с.
11. Пушкин А. С. *Полное собрание сочинений в 10 т.* М.: Изд-во Акад. наук СССР, **1978**. Т. 7. 543 с.

Поступила в редакцию 05.06.2023.

DOI: 10.15643/libartrus-2023.3.1

**A. N. Ostrovsky – the creator of the Russian National Theater.
To the 200th anniversary of the artist.
Part II: Stage experimentation**

© V. V. Ilyin

*Moscow State Technical University named after N. E. Bauman (Kaluga branch)
2 Bazhenov Street, 248000 Kaluga, Russia.*

Email: vvilin@yandex.ru

Ostrovsky's extensive dramatic legacy is studied through the reflection of the statements of the "human in man" that mainly occupy him. For this purpose, on the basis of one-time observations, a sample is made that establishes the distribution of certain basic parameters. According to this method of acting, dramatic material is regarded as a humanitarian field, within which stage experimentation is carried out. In reality, we are talking about obtaining two series of general aggregates: one is established by the artist (by highlighting a set of representative life paintings), the other is the analyst of his work (by highlighting representative artistic interpretations of life). The characterization of Ostrovsky's scenography is carried out according to the functions of the meaning of such fundamental poetic thematizations as the plot – "little man"; "human dignity"; "tyranny"; "everything is always on sale"; "inner emptiness"; "the way of Russia"; "happiness"; "historical creativity".

Keywords: national theater, stage culture, Ostrovsky's precepts.

Published in Russian. Do not hesitate to contact us at edit@libartrus.com if you need translation of the article.

Please, cite the article: Ilyin V. V. A. N. Ostrovsky – the creator of the Russian National Theater. To the 200th anniversary of the artist. Part II: Stage experimentation // *Liberal Arts in Russia*. 2023. Vol. 12. No. 3. Pp. 133–150.

References

1. Gogol' N. V. *Peterburgskie povesti [Petersburg tales]*. Saint Petersburg: Nauka, 2014.
2. Goncharov I. A. *Sobranie sochinenii v 8 t. [Collected works in 8 volumes]*. Moscow: Pravda, 1952. Vol. 8.
3. Dobrolyubov N. A. *Polnoe sobranie sochinenii v 6 t. [Complete works in 6 volumes]*. Moscow: GIKhL, 1934. Vol. 1.
4. Dobrolyubov N. A. *Polnoe sobranie sochinenii v 6 t. [Complete works in 6 volumes]*. Moscow: GIKhL, 1935. Vol. 2.
5. Dobrolyubov N. A. *Sobranie sochinenii v 9 t. [Collected works in 9 volumes]*. Moscow, 1961–1964. T. VI.
6. Dostoevskii F. M. *Sobranie povestei i rasskazov v odnom tome [Collection of novels and short stories in one volume]*. Moscow: Al'fa-kniga, 2015.
7. Il'in V. V. *Filosofiya vlasti*. Moscow: Izd-vo MGU, 1993.
8. Il'in V. V., Azarenko I. S., Vishnevskaya S. N., Shaura E. K. *Liberal Arts in Russia*. 2023. Vol. 12. No. 1. Pp. 3–18.
9. Il'in V. V. *Filosofiya krizisa. Chelovechestvo na poroge katastroficheskikh peremen [Philosophy of crisis. Humanity on the verge of catastrophic changes]*. Moscow: Prospekt, 2022.
10. Ostrovskii A. N. *Polnoe sobranie sochinenii v 16 t. [Collected works in 16 volumes]*. Moscow: Gos. izd-vo khudozh. lit., 1953. T. XVI.
11. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochinenii v 10 t. [Collected works in 10 volumes]*. Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1978. Vol. 7.

Received 05.06.2023.